

Павел Анненков

**Романы и рассказы из
простонародного быта в 1853
году**



Павел Анненков

**Романы и рассказы
из простонародного
быта в 1853 году**

«Public Domain»

1854

Анненков П. В.

Романы и рассказы из простонародного быта в 1853 году /
П. В. Анненков — «Public Domain», 1854

«...Создания, в основании которых лежат жизнь и обычаи простого народа, заметно расплодилось у нас во всех формах, и уже начали составлять яркую и, скажем, утешительную черту современной литературы. Много новых элементов для романа, повести и комедии открыли даровитые писатели на этом поприще; много оригинальных лиц и физиономий, принадлежащих исключительно русскому миру, ввели они в дело, и на многие, доселе еще неведомые источники патетического, страстного и комического успели они указать нам...»

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Павел Васильевич Анненков

Романы и рассказы из простонародного быта в 1853 году

I

«Рыбаки», роман г. Григоровича, явившийся в конце прошлого (1853) года отдельной книжкой, невольно возбуждает потребность отдать отчет о ряде литературных произведений с тем же направлением, каким он отличается. Создания, в основании которых лежат жизнь и обычаи простого народа, заметно расплодились у нас во всех формах, и уже начали составлять яркую и, скажем, утешительную черту современной литературы. Много новых элементов для романа, повести и комедии открыли даровитые писатели на этом поприще; много оригинальных лиц и физиономий, принадлежащих исключительно русскому миру, ввели они в дело, и на многие, доселе еще неведомые источники патетического, страстного и комического успели они указать нам. Бодрость и сила, отличающие всегда плоды свежей, нетронутой почвы, сообщаются и этим народным произведениям и чувствуются даже тогда, когда, отстранив мысленно и с усилием, разумеется, родовую привязанность к лицам, выводимым ими, вы стараетесь взглянуть на них, как чужой на чужого. Чувствуется присутствие оригинальной мысли в этих изображениях нового мира, открытого авторами, который по самой своей замкнутости и своеобразности представляет вместе со многими затруднениями (о чем будем сейчас говорить) и много выгод для писателя. Так, произведения из народного быта всегда сжатее, сосредоточеннее, чем те, которые захватывают разнородные круги общества, а потому и действуют сильнее последних на воображение в минуты самого чтения; они не имеют причин заниматься анализом тонких ощущений и потому кажутся здоровы на вид; они наконец проще в завязке, которая не может быть сложна по существу самого дела и потому кажутся особенно величавыми на первый взгляд.

Отдав полную справедливость качествам, отличающим новое направление в литературе, и всей душой желая еще большего его развития, мы, однако ж, должны предостеречь публику от недоразумения, которое легко может возникнуть по поводу его. Многие и в том числе, вероятно, некоторые из писателей этого рода, думают, что простонародная жизнь может быть введена собственно в литературу во всей своей подробности, без малейшего ущерба для истины, цвета и значения своего. По нашему крайнему разумению, это весьма важная ошибка, способная породить (и порождаящая) бесплодные стремления к такой цели, которая вряд ли может быть достигнута. Литературная передача всякого явления имеет свои незыблемые правила, приемы, манеру, которым должен подчиниться материал самый непокорный, и которые налагают клеймо свое на самый гордый и самостоятельный предмет. Что бы ни делал автор для тщательного сохранения истины и оригинальности в своих лицах, он принужден наложить краску искусственности на них как только принялся за литературное описание. Желание сохранить рядом, друг подле друга, требования искусства с настоящим, жестким ходом жизни, произвести эстетический эффект и вместе целиком выставить быт, мало подчиняющийся вообще эффекту, – желание это кажется нам неисполнимым. Еще хуже бывает, когда коснется дело до выражения нравственного достоинства, присущего лицам простонародья. Здесь является опять литературное понимание его, почасту расходящееся с простым, менее требовательным пониманием самого круга. Есть, наконец, множество строгих представлений в литературе, бесспорно принимаемых всеми как фундамент, на котором легко, прилично и удачно могут быть построены завязка и интерес рассказа. В известной сте-

пени представления эти не чужды никакому классу; но они никак не составляют обязанности или несчастья для простого человека, и автор принужден иногда гнуть постороннее лицо под ними к земле только силою своего произвола. К этому прибавить надо добрую часть книжных истин, вмешивающуюся, разумеется, невольно от самого автора, в его суждение и сообщающую завязке совсем другой цвет, чем тот, под которым является она невооруженному глазу человека. В этом перечете разных литературных условий нельзя забыть и того, что в арсенале беллетристического произведения есть всегда множество пояснений, развязок и окончательных соображений, готовых к услугам писателя, который должен только владеть талантом правильного выбора; но они, случается иногда, не составляют ни малейшего пояснения, никакой развязки делу в глазах человека, знакомого с ним настоящим образом. Так, истина жизни и литературная истина в смешении своем отнимают друг от друга целые, иногда весьма характерные части. Этим даже можно объяснить отчасти явление, уже замеченное многими. Грамотный, но еще не развитый простолюдин, читая грубые изображения самого себя, не читает пояснений своей жизни, делаемых поэзией и литературой. Действительно, они должны много скрыть в его глазах: так, очертания крыльца и забора итальянской избы пропадают в гуще плюща и винограда, обвивающих их со всех сторон.

Мы весьма далеки от мысли обвинять всех наших рассказчиков в тех погрешностях, которые перечислены нами теперь; напротив, мы видим во всех тщательное старание обойти их. Но это самое и доказывает, что они действительно существуют, и что не всегда могут быть обойдены. Простонародную так называемую литературу никак нельзя сравнивать с теми группами рассказов, какие еще существовали у нас: ни с рассказами об идеальных художниках, томящихся в действительности, ни с светскими повестями, где калейдоскопически противопоставлено внешнее изящество благородству простого, робкого чувства и проч. Те брали преимущественно свои типы из воображения, распаленного ночной работой; простонародные рассказы берут свои типы из жизни и, как мы сказали, часто дают им выражение, глубоко и сильно затрагивающее чувство читателя. Со всем тем общий характер рассказов последнего рода заключается именно в том столкновении искусства с выбранным предметом, о котором сейчас говорено было. Почти в каждом рассказе видите вы тяжелую борьбу между литературной манерой и бытом, который подчиняется ей не совсем охотно. Есть напряжение со стороны писателя и добрая цепь изворотов, которые не укрываются от глаз читателя. Борьба писателя переходит и на чтеца его, и какое-то необъяснимое сомнение идет об руку с невольным увлечением от рассказа. По окончании чтения вы побеждены автором, благодаря многим превосходным частностям, столь изобилующим в новых произведениях, благодаря мастерским описаниям, ярким освещениям картин, что составляет неотъемлемую принадлежность этой школы, благодаря наконец чертам глубоко и верно подчиненным в жизни; но когда возвращаетесь вы к основной мысли произведения, суждение ваше опять двоятся. В душе вашей рождается смутное и неопределенное чувство. Вы знаете, что рассказ превосходен; но вы спрашиваете, много ли в нем истины самой по себе, и так ли сказывается она в известное время и в известном месте?

Довольно замечательно, что сличением разных произведений одного и того же рода, вопрос, заданный вами себе самому, не разрешается, а напротив – еще более запутывается. Кто не знает из русских читателей, что в небольших рассказах, где дело собственно в подметке внешней физиономии простолюдина, в описании обычая, привычек его, в изложении *формальных* его отношений к другим людям и, наконец, в уловлении характеристических частностей его быта и природы, где он движется, школа произвела несколько образцовых вещей. Таковы некоторые рассказы гг. Тургенева, Писемского, Кокорева и многие эпизоды самого г. Григоровича и проч. То же самое можно сказать и о вводных лицах у других писателей, не занимавшихся преимущественно тем отделом, о котором говорим. Верность подлинному типу и истина самого представления бросаются везде в глаза читателя. Наслажде-

ние это еще увеличивается от разнообразия средств, какие употребляются писателями для выражения типов, встреченных ими. Род таланта, свойственный каждому из авторов, его художнические способы, освещение, какое преимущественно любит он давать своим представлениям, наконец угол зрения, под которым он наблюдает их, – все это, вместе с живостью изображаемого предмета, оставляет в вас вполне цельное впечатление. Совсем другое бывает, когда писатель переходит к идеализации быта, другими словами к открытию мысли, движущей его, к скрытым душевным ощущениям и к поводам, определяющим его убеждения, привязанности, отвращения. Здесь писатель становится в противоречие почти с каждым из своих читателей, имеющим о том же предмете свои мысли, а также почти и с каждым собратом своим по ремеслу. На этой общей почве писатели, представляющие такое множество точек соприкосновения, уже не сходятся... То, что одному кажется естественным выводом из всей жизни человека, то другому кажется искусственной прибавкой со стороны биографа; где один видит органическую потребность, там другой открывает только случайность, и т. д. Методы приложения чувств и мыслей, имеющих уже право гражданства в образованном мире, к жизни на всех концах общества имеет и защитников, и противников, сражающихся доводами одинаково сильными, т. е. произведениями, в которых искусно развито то или другое убеждение. Из разногласия этого отделяется однако же для наблюдательного глаза, одна непреложная истина. Смущенный читатель начинает догадываться, что настоящее существо дела, слово разгадки, которое должно примирить всех, как древняя река Алфей, бежит под землю, а что вместо дела наружу бросается только *литературное понимание* его, как свежая растительность, доказывающая несомненное существование источника. Но литературное понимание уже не имеет достаточной очевидности, чтоб подчинить себе мысли, убеждения читателя. Будучи делом личного произвола, оно тем же личным произволом и может быть отстранено. Это не капитал, имеющий одну установленную ценность, а фонд, упдающий и возвышающийся, смотря по развитию и состоянию мысли в обществе и по ее направлению. Таким образом литературное произведение является нам как дерево висячих садов, поднятое на огромную высоту, выращенное на почве, тщательно собранной там и, при всей пышности своей, не имеющее того залога настоящей растительной жизни, какая свойственна дереву, самобытно поднявшемуся на родной земле и глубоко пустившему в нее корни свои.

Г-н Григорович создал роман в трех частях из истории одного рыбацкого семейства. Легко видеть, какая тяжелая задача предстояла автору: развить в форме художественного романа жизнь до того несложную, что первое слово каждого лица заключает себе все остальные его речи и первая мысль его отражает уже целый ряд мыслей, какие будут проходить к нему во все существование его. Однако же автор исполнил свое дело с замечательным искусством и твердой рукой. Ни разу не отрываетесь вы от романа с усталостью или недоброжелательным чувством, благодаря мастерским очеркам, посредством которых ярко представлены глазам вашим типические лица, вроде ленивого старика Акима, испорченного и кичливого чада сельских фабрик Захара, вялого, но коварного целовальника Герасима и проч. Эти ловкие очерки, весьма похожие на эскизы художников, еще обставлены подробностями, которые доканчивают поражающую истинность и оригинальность их. Дудочки Акима, которыми любит он забавлять детей, притон Герасима, табачный кисет и фабричное общество Захара, где он играет роль дэнди, – все это исполнено жизни и природы. Редкая из современных наших *tableau de genre*¹ содержит столько характерных подробностей, сколько их собрано вокруг каждого лица в романе. Автор даже не забыл мелочей, уже действительно принадлежащих больше живописи, чем собственно описанию, – как, например, некоторые подробности в фигуре молодой Дуни, моющей белье на ручейке и проч. С инстинктом рисо-

¹ бытовая картина (фр.)

вальщика останавливается он также на эффектах, какие имеют при известном освещении дня или ночи плетень, угол избы, рука, отбрасывающая тень налицо и проч. и проч.; да тот же инстинкт рисовальщика преобладает и в его описаниях местности и природы. Тут гораздо более живописи, т. е. старания подметить краски и формы предметов, чем поэтического созерцания и передачи прямых впечатлений. В таком духе представлены, впрочем, с несомненным искусством картины весны, бури на Оке и всего театра действия, а в описании ярмарки села Комарёва, ночлега гуртовщиков под открытым небом и во многих других описаниях автор достиг широты изложения и кисти, не часто встречающихся вообще в его картинах. Со всем тем узел романтического интереса составляют не эти превосходные частности и не эти вводные лица, а борьба старого поколения простолюдинов, представителями которого являются всегда суровый рыбак Глеб Савинов и всегда кроткий дедушка Кондратий, с молодым поколением, изображенным в лицах приемыша и детей Глеба. Тут развивается настоящая драма, от столкновения двух противоположных настроений, драма, в которой новое поколение, за исключением только молодого Вани, обрисованного, впрочем, довольно слабо, пожертвовано в нравственном отношении типам старого времени. Автор на стороне прошлого и бывалых людей. Они у него даже упорны, беспечны, гневны с достоинством, между тем как страсти и склонности потомков их поставлены на низшую ступень, и по инстинкту, и по выражению, и по цели своей. Так ли это на самом деле, мы не знаем, да, вероятно, и сам автор, спрошенный добросовестно, не мог бы отвечать на вопрос с полным убеждением. Для нас ясно, что это только *литературная мысль*, имеющая мало общего с настоящим бытом, но без которой уже не мог бы существовать роман. Что эта мысль счастливая – бесспорно, что на ней движется весь механизм романа, со всеми своими колесами и поршнями – тоже бесспорно; но что она обязана существованием только литературной необходимости, бросается в глаза с первого раза. Это не существенная черта самой жизни, а только пружина автора, без которой нельзя было бы поднять и самую жизнь. Так, впрочем, всегда случается, лишь только вводится в литературу и искусство простонародный быт. Он требует помощи извне, мысли, взятой со стороны, для оживления своего. Это совсем не то, когда он сам сочиняет про себя, как известно. С минуты появления своего в словесности простонародный быт требует уже драгомана, а драгоман делается при этом столь же значителен, как сам доверитель, и весьма часто важнее своего доверителя. Чем ближе вглядываешься в роман г. Григоровича, тем яснее видишь, что *литературная выдумка* просачивается сквозь все слои и толщи и проникает почти во все его представления наравне с чертами из действительного быта. Известно всякому, что роман требует строгой последовательности и правильного развития характеров. Для успеха романа надобно, чтоб каждое его лицо в каждую минуту было верно самому себе. Так создавались все хорошие романы в Европе, и г. Григорович не мог изменить, разумеется, существенных условий этого рода произведений. Глеб Савинов на каждой странице романа сохраняет у него постоянно свою суровую, дельную, взыскательную физиономию. Ни разу не расправляются добродушие черты его лица, и ни разу он не забывается. Даже в минуту смерти набегают те же самые морщины на лоб его, какие мы видели при первом с ним знакомстве, хотя, надо сказать, описание смерти Глеба Савинова и какого-то вдохновенного усиленного труда перед нею принадлежат к лучшим страницам талантливого рассказчика. То же самое видим мы и в отношении добродушного, покорного судьбе Кондратия: он кроток во всякую минуту своей жизни, всегда говорит одни мягкие, успокаивающие речи, и ни одной ноты не взял он во все свое существование ни выше, ни ниже надлежащего. Та же система однообразного повторения родовых признаков лица, так сильно действующая на воображение читателя, прилагается и к второстепенным лицам романа. Между двумя сыновьями Глеба, Петром и Василием, установились особые отношения, в которых Петр играет главную роль, а Василий находится под нравственным влиянием старшего брата. Когда возвращаются они через несколько лет опять в отцовский

дом и на сцену романа, Петр снова играет роль руководителя, Василий снова находится под тлетворным господством его. И мы несколько не намерены ставить в вину автору этого *тверждения задов*, если смеем так выразиться: оно принадлежит к известным потребностям, без которых автор романа обойтись не может, как мастер без своего инструмента, и которые способствуют ему для выражения характера выпукло и для произведения особенного впечатления на память читателя. Мы только спрашиваем: в каком отношении необходимость эта находится к жизни и к истине? Положительного ответа мы опять дать не можем, но можем заключить а priori², что лицо из простого быта чаще всякого другого должно срывать с голоса и чаще переходить на другую сторону, потому что оно лишено тех искусственных подпорок, которые удерживают человека весь век на одном месте и в одном чувстве. Нет достаточных причин, чтоб он подпал действию морального столбняка, из которого составляются романистами типы, наиболее яркие и наиболее живущие в воспоминании читателя. Он человек впечатления, а не принятой заранее мысли, которая, наконец, врастается в плоть и кости; он не наблюдает за собой со строгостью школьного учителя и не ведет счета ошибкам или поступкам своим. Как живое лицо, он, разумеется, имеет определенные черты и наклонности; но состояние общественного мнения в его круге не так сурово, чтоб держать его постоянно в одной позе и не позволяет частых отлучек по сторонам. Признаемся, все это кажется нам очевидным, и роман г. Григоровича еще более укрепляет в нас мнение, что от передачи в искусстве хода простонародной жизни можно ожидать много наслаждения, много картин, оригинальных лиц, превосходных описаний, но вряд ли настоящего познания его как предмета для обсуждения и заключения. А между тем многие из писателей и весьма большое число читателей имеют в виду именно эту последнюю цель; но это все равно, что по высоте египетской пирамиды судить о росте людей, построивших ее.

С благодарностию к автору оставляем мы его роман, доставивший нам много прекрасных минут, и не упоминаем даже о некоторой искусственности языка, которая замечается в речах его действующих лиц всякий раз, как они начинают рассуждать. По наруже это язык простонародья, со всеми приемами своими, и однако ж вы чувствуете, что это язык не подслушанный, а сочиненный. Изредка проглядывают в нем фразы, видимо придуманные автором для выражения какой-либо отвлеченной мысли, влагаемой в уста простолюдина. Фраза тогда по конструкции и виду совершенно простонародна; но в ней слышится рука автора и даже процесс ее составления, а в отношении самого говорящего лица она кажется скорее затверженною на память, чем такой, которая без ведома сорвалась с его языка. При попытке передать отвлеченные мысли простонародья, и при том в самом ходу действия, подобные фразы должны являться, и разбором их мы могли бы еще раз подтвердить все теперь сказанное о неизбежном вмешательстве самого сочинителя в повесть, рассказываемую им, о неизбежных прорывах, где автор должен иногда говорить за свои лица, как скрытый под полотном комедианта за свои куклы. Общее превосходное впечатление целого романа г. Григоровича, конечно, скрывает эти недостатки; но они существуют и в менее обдуманных, менее художественных рассказах являются грубо и ярко. Вместе с публикой мы ждем от г. Григоровича новых произведений в том же роде, и ждем с живым участием. Кроме прямого удовольствия, каждое из них возбуждает еще много вопросов и мыслей по поводу своего содержания – свидетельство почти несомненное, что содержание взято из недр жизни и связано к нам тонкими, неразрывными нитями.

Переходим к другому роману, появившемуся в прошлом году, – к «Крестьянке» г. Потехина. Роман этот, конечно, менее важен в эстетическом отношении «Рыбаков» г. Григоровича, но не менее их может подать повод к соображениям, подтверждающим основную мысль наших заметок.

² из предыдущего (лат.)

В одном из первых своих произведений – в рассказе «Тит Софронов Козонок», г. Потехин уже отличается особенной манерой, которая еще сильнее обнаруживается в романе «Крестьянка». Он собственно не развивает характеров художнически, как г. Григорович, а скорее описывает их со стороны, как делает, например, составитель каталога в картинной галерее или размышляющий библиограф при реестре книжных драгоценностей. Тон повести г. Потехина идет под пару с манерой: он не родился у автора сам собой из сущности повествования, и не составляет естественного колорита повествования – напротив тон этот заимствован у стихотворных идиллий или у поэм с сказочными замашками, какие еще не так давно писались у нас. Читатель поймет нас, если мы приведем только начало повести г. Потехина: «Года два тому назад старика Онуфрия Кузьмича посетило тяжкое горе: умер его единственный сын Григорий. Славный был этот мужик Григорий: умный, смысленный, зажиточный, хорошо вел свои дела, отлично торговал. Главный промысел его было пчеловодство, и уж ни у кого нельзя было достать такого чудесного меда-самотека и прозрачного, как янтарь, и обсахаренного, как крепкое мороженое. Какой хотите – спросите: цветочный ли, липовый или хлебный – ни один из них не уступит другому. Делал он и воск превосходный: не то что красный или желтый – нет! атакой чистый, такой белый, как слоновая кость...»

Подобные же приемы мы еще помним у Гоголя в «Вечерах близ Диканьки»; но там они соответствовали и настроению духа в авторе, и фантастическому, легендарному содержанию многих рассказов, и наконец молодому, теплому созерцанию малороссийской природы и малороссийского быта. Не то у г. Потехина. Приемы эти не имеют корней в самом рассказе его, а являются случайно, только как способ, как заем, как чужая нота, по которой автор настраивает свой собственный голос. Они не оправдываются также и особенным одушевлением к предмету описания, потому что повесть г. Потехина, напротив, составлена как-то сухо и походит на изложение голого факта. Тит Софронов, сделавшийся из наглого мальчика дворецким лихого и ограниченного барина, стечением обстоятельств обращается опять в крестьянский быт. Тут воспоминание о прежнем житье, горе от злой жены, которую он сам навязал себе, беспокойство униженного самолюбия тушат всякую искру нравственности в нем: он делается нищим, пьяницей и наконец, совершенно невзначай, убийцей. Небогатое содержание повести передано еще в духе строгого изложения, боящегося пояснений и разработки, ради верности и истины повествования, как должно полагать; но верность и истина тут слишком дешево куплены. Глаз и ум ищут красок, подробностей, сочетаний теней и оттенков в литературном произведении, и рассказ, ни на шаг не отступающий только от завязки, не может приковать их к себе. На лица и характеры свои г. Потехин смотрит, как уже сказано, со стороны. Он заставляет, например, лица свои говорить много и долго от самих себя, но не живет вместе с ними и не чувствует их глубоких, тонких, душевных особенностей. Все они показаны только снаружи, и ни одно не продумано и не проникнуто вполне. Таким образом мы встречаемся здесь с противоречием, которое часто поражает при анализе и сличении произведений из простонародного быта. Тщательная психическая и художественная разработка, с одной стороны, дает иногда больше того, что в самих характерах заключается, или по крайней мере не совсем то, что они должны бы заключать; одно прямое и верное описание не дает уж ничего или по крайней мере дает то, что почти не стоит приобретения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.